

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ КРИТИКЕ

Предполагая некоторое преобразование в плане и расположении «Русского Вестника» на сей, 1842 год, мы почитаем обязанностью объяснить с читателями нашими касательно одного из непрменных отделений нашего журнала: разумеем критику.

Критика должна отныне войти значительным образом в содержание «Русского вестника», обращая воззрение свое в обширнейшем размере на явления важнейшие или почему—либо (хотя в отрицательном смысле) замечательные, дающие средство развить мысль о каком—либо предмете любопытном. Она будет дополняться *библиографическими* замечаниями обо всех произведениях современной русской литературы вообще (кроме тех, которых не пускают в порядочное общество), а отчасти и об иностранных.

Разумея под именем *критики* суждение о произведениях литературных или вообще о предметах, излагаемых в современных книгах, мы не ограничиваем ее одною только *словесностью*, но придаем ей характер, если можно так сказать, *энциклопедический*. Того требует настоящее состояние европейского и нашего просвещения и образованности, когда ученые предметы становятся уже не чужды обширному кругу читателей, когда направление века не допускает уже прежней исключительности предметов — от поэта требуют мысли и от

ученого философического воззрения на его занятие. Посредниками такой критики должны быть журналы в настоящее время.

Невозвратно прошли былые счастливые времена, когда старинная классическая критика с известными условиями председательствовала за трибуналом словесности, пред который являлись стихотворцы со своими эпопеями, одами, сатирами, мадригалами, посланиями. Заглянув в кодекс законов Лагарпа, справившись с учреждением о поэзии Горация и Буало¹, критика разрешала тяжбы и прошения поэтические, награждала чинами и знаками отличий или осуждала на штрафы и взыскания, даже иногда молодых поэтов на телесные наказания, как свидетельствует о том предание, сохраненное В. Л. Пушкиным в известной эпиграмме его^{*}. Критика ученая была тогда в большом неустройстве; впрочем, и в ней были свои частные уложения, по которым весьма просто судились тяжбы людей ученых и дела вообще всюду шли весьма мирно и легко. Множество являлось тогда у нас в России Омиров, Лафонтенов, Титов Ливиев и проч. Служба литературная была весьма привольна. Некто Рубан «за один стих был допущен во храм славы», как свидетельствовал о том печатно князь П. А. Вяземский.

Лет за двадцать все еще неколебимо существовал такой порядок дел в критике. Но тогда именно, после утишения в Европе бурь политических, начались бури в науках, знаниях и литературе. Страшное настало

^{*} Из которой известно нам, что однажды Аполлон, по докладу Эраты, за две плохие оды, поднесенные ему 15-летним поэтом, велел высечь его «розгами». А. С. Пушкин подтвердил любопытный рассказ своего дяди и прибавил к тому, что какой-то семинарист, за тетрадь «лакейских диссертаций», поставлен был «в палки» по приписке Феба (Соч. Пушк. X, 467)². Ныне подобных наказаний на Парнасе, кажется, уже нет, хотя и не худо бы иногда — так, немножко...

волнение, всеобщее было восстание! Вся Европа, все искусства, все науки, все литературы были потрясены в основании. Не говорим уже о ниспровержении трибунала прежней критики, о том, как изодраны и выброшены были уложения Буало и кодексы Лагарпа. Старое не поддавалось без боя — началась битва и была отчаянная: дрались на скалах Швеции, на морях Англии, в Академии Парижской, в болотах Литвы, на берегах Тибра и Рейна. Союзники нового собирали войска даже в Индии, в Персии; под общими знаменами шли легионы Британии и

327

Германии с кликом «Шекспир! Гете! Кант! Шеллинг!». Торжественно вступали победители в столицу Классицизма. Многие защитники старого достославно легли в битве; другие передались к неприятелю, иные попались в плен, были разогнаны, пропали без вести. Любопытны были сии события, и сколько тут являлось разнообразного и поучительного! Не только современные тогдашние владычества, но даже авторитеты прежних властителей подверглись спору и падению. Где девалась власть Кондильяка, Корнеля, Расина, Бюффона, Сульцера?.. Но какие были, однако ж, окончательные следствия такого всеобщего волнения?

Ради того, что в нем открылось несколько новых важных истин, когда и за одну истину ничего жалеть не надобно; можно простить беспорядки и несправедливости, причиненные литературными смятениями последних двадцати лет. Но нельзя не сознаться, что для настоящего времени во многом сменили они одно зло другим. Если не

вникать в сии литературные события с высшей точки зрения, каждый невольно пожалеет о *старом добром времени* классического владычества и готов будет согласиться с Фонтенелем, который говорил: «Если бы я имел полную горсть истин, я не разжал бы моей руки».

Но прежде всего согласимся: бесполезно жалеть о том, что совершилось, ибо что было, тому надлежало быть. Такова участь человека: покупать добро и благо жертвами. Добро и благо в будущем можем мы уже и теперь предвидеть. Но если они предоставлены потомкам нашим, нам пришлось жить в довольно тяжелое время разрушения старого порядка дел, и должно согласиться, что нынешнее время в литературе и знаниях грустно и безотраднo.

Правда, мы совершенно уничтожили старую, ограниченную, неверную теорию изящного, разрушили прежний трибунал поддельной литературной критики, но учредили ль мы новый, более законный, утвердили ль новую теорию, более прежней верную? Нимало. Теперь у нас десять самовластных судилищ, одно другому противоречащих, учредилось вместо одного прежнего. Каждое пишет свои уложения, издает свои постановления, уничтожает их, публикует новые, которых не слушают другие. Если надобно обозначить настоящее состояние теории и критики литературной в наше время одним словом, то самое верное слово для того будет:

328

безначалие. У нас теперь сотня эстетик, а *изящное* так же и едва ли не более прежнего осталось загадкою. Смело

укажем, чем оно *не может быть*, но никто еще не утвердил, *что такое оно* в самом деле. Такая же путаница в теориях ученых и в самой философии. Бедная философия! Когда сам Шеллинг (как уверяют, и — позвольте прибавить — уверяют ложно) отрекается от своих прежних положений, схоластика Гегеля сменила его философию для многих, а ученики Гегелевы уже спорят и дерутся между собою, когда в Англии и во Франции германская философия искажается бестолково и десятки новых нелепых мнений сшибаются в совершенных противоположностях.

Мы уничтожили старые авторитеты, сбросили с подножий кумиры, пред которыми прежде преклонялись, но уже сами видим, что кумиры, вместо старых нами поставленные, носят быстрые признаки человеческого несовершенства и многие из них стоят уже полуразрушенные, как алебастровые статуи в аллеях какого-нибудь запущенного сада. Оттого происходит, что на новые предметы, выставленные для благоговения публики, яростно устремляются толпы ничему не верующих разрушителей, и многие впадают в заблуждение самое нелепое и в совершенное отчаяние о прочности славы человеческой и труда людского. Посмотрите, с каким ожесточением нападают Мирмидоны на великого Гете в самой Германии и как чудовищную сказку предпочитают изящным созданиям искусства — «Нибелунгу» «Энеиде»³, византийскую живопись идеалам Рафаэля, дикую дисгармонию Мейербера гармонии Моцарта, отвергают всякое дарование в Корнеле и Расине и не надивятся красотам Эленшлегера, находят что-то даровитое в Бульвере! А непрерывная смена новых любимцев публики? Уже на творения В. Скотта дерзают

смотреть холодно и после него с наслаждением читают отвратительные создания Марриета, уродливости Диккенса, холодные подражания великому В. Скотту ледовитого Купера. Даже самое безотчетное обожание Шекспира не доказывает ли, что оно есть следствие не отчетливого убеждения ума, но своевольное изуверство?

Искусство, потеряв свои правила, перепутавши, исковеркавши свои основания и идеи, стыдится называть себя музою — да оно и походит не на богиню изящного, а разве на полупьяную, растрепанную вакханку. Не изящного ищет теперь искусство, но дикого, странного,

329

нового. Поэзия, живопись, музыка, зодчество наши готовы дивиться уродливостям Эдды⁴, картинам Дюрера, хорам дикарей Германии, искать образцов в готизме средних веков, Эллорских подземельях, Дендерских храмах, только удалиться бы от того, что прежде называлось изящным.

Не считайте слов наших преувеличением, не называйте их голосом усталого и отсталого человека, но спросите самих себя по совести, посмотрите кругом себя беспристрастно и решите: не похоже ли настоящее на груды развалин, где бушует разноплеменная толпа изуверов и разрушителей? Да и самое бесплодие дарования, уровень посредственности над всеми современными произведениями не доказательство ли того, что, открывши многие тайны искусства, мы свободно допустили в них дерзкую бездарность и при несуществовании основных правил искусство наше упало

в ремесло? Наш вкус — странность; наше прекрасное — дикость; наша страсть — новизна.

Мы говорим вообще, не об отечественной только русской литературе и русском искусстве: все изложенное нами относится равно к Германии, Франции и Англии. Обращаясь к России собственно находим то же самое. Повиновавшись прежде тому, чему повиновались другие, мы участвовали потом в волнении других и кончили тем же, чем кончили другие: у нас нет теперь ни теории, ни правил; поэзия стала механизмом; груда развалин покрывает поле искусства; вместо одного прежнего судилища критики, бесспорно неверной, основано полдюжины трибуналов, один другому противоречащих. Все и каждый хотят щеголять оригинальностью — даже в правописании. Взглянем для доказательства на нашу русскую журнальную критику в прошлом году. В нескольких журналах четкими буквами обозначались отделения: *критика*, и что же они представляли?

В одном из журналов наших предлагали нам жалкие, уродливые обломки гегелевской схоластики, излагая ее языком, едва ли даже для самих издателей журнала понятным. Все еще устремляясь уничтожать прежнее, вследствие спутанных и перебитых теорий своих, но чувствуя необходимость каких-нибудь авторитетов, дико вопили о Шекспире, создавали себе крошечные идеальчики и преклоняли колени перед детскою игрою бедной самодельщины, а вместо суждений употребляли брань, как будто брань доказательство⁵.

Другой журнал являл совершенную противоположность. Добродушно объявляя, что всякая философия прежняя и все, что доньше мыслил и делал ум человеческий, все сущий вздор, он выводил какую-то философию *ad Jove*^{*}, по вдохновению, не по рассудку, вопя о гибели и разврате «братии, в земной погрязшей суете», призывал русских быть русскими, как будто можем мы не быть в то же время членами великого семейства человечества. В запальчивом усердии любезный журналист выдумывал даже какой-то особенный язык русский и вследствие своих теорий не мог налюбоваться на пародию «Одиссеи» от чистого и искреннего сердца, а в какой-то теории холода и тепла, недостойной даже и улыбки сожаления, видел разрешение великих тайн природы!⁶

Третий журнал составлял нечто среднее между сими двумя журналами. Целый год надувался он и как будто хотел что-то сказать решительное и положительное; начал известием, что Запад и его философия и искусство умерли и даже начали гнить, а потом круглый год потчевал читателей крохами, унесенными с западной похоронной трапезы. Критические статьи его походили на лекции какого-нибудь молоденького учителя, который, взявши в руки ученическую диссертацию, всходит на кафедру и начинает: «Мм. гг., мы рассмотрим, мы поверим по высшим правилам теории и науки настоящее произведение, но только в будущий раз, а теперь — извините!» Учитель кланяется, преважно сходит с кафедры, и собрание расходится⁷.

Наконец, четвертый авторитет русской критики в прошедшем году составлял журнал, редактор коего давно,

^{*} По Юпитеру (*лат.*).

откровенно и прямо объявил, что он не верует ни в какие теории, не допускает никаких правил в искусстве, не знает умозрения, видит в науке сбор опытов, который изменяется после каждого нового открытия, — словом, что ум человеческий белка, бегающая непрерывно по колесу, а в утешение за непрерывную беготню белки дан ей орешек, и этот орешек — *шутка!* Вследствие такого расположения, почтенный журналист вот уже несколько лет шутит над всем, шутя говорит обо всем, и не верьте ему, если он начинает о чем-нибудь говорить не шутя — мистификация, над которою через несколько времени начнет первый смеяться сам мистификатор!⁸

Мы совсем не думаем осуждать русских критиков,

331

уверены в добросовестном направлении их — мы даже не именуем никого, ибо хотим говорить о деле, а не об лицах. Если журналисты русские рассердятся на нас, то будут несправедливы, и если кому-нибудь из них угодно будет бранить нас за наш отзыв, мы наперед сказываем им, что отвечать не будем. Доказывать, что представленное нами изображение разнообразного направления нашей русской критики верно, мы не принимаем на себя труда: пусть читатели возьмут годовые издания четырех толстых русских журналов за 1841 год, сообразят статьи их и сами уверятся в словах наших. Разнохарактерность критического дивертисмента русской журналистики и неточность идей и оснований у наших критиков является в резких противоположных выводах упомянутых четырех журналов: что хвалит один, над тем смеется другой; от

чего в восторге третий, то немилосердно бранит четвертый.

Повторим, что мы вовсе не думаем осуждать наших современных журнальных критиков: в их мнениях видны следы литературных событий последних двадцати лет, в них отражается то, что видим на Западе. Так невпопад философствует в Англии один из недоученных учеников германской философии; так *маленький аббатик во Франции* вымышляет *ad Jove* свою вдохновенную философию; так некоторые из западных критиков хотят своевольно разрешить задачи теории и катают камень Сизифа; так, наконец, другие решились над всем забавляться и то надевают костюм *Фигаро*, то летают и жужжат *осами и шмелями*. Оставим всех их в покое; пусть каждый делает, что ему угодно. Обращаемся к тому, какое основание в современной критике желали бы мы видеть — по крайней мере что мы принимаем в основание критики *«Русского вестника»*.

Прежде всего откровенно сознаемся, что мы совсем не мечтаем осуществить собою идеал критики, который можно себе только вообразить, но олицетворить который не дано человеку. Мы думаем, убеждаясь опытом и историческим воззрением, что для каждого века задачу критики составляет только прибавление вновь приобретенных сведений к тому, что было ведомо прежде. Здесь самое трудное дело — беспристрастное самоотречение и удаление от современных страстей и пристрастия, беспрерывно увлекающих человека.

В литературных событиях последних двадцати лет, в Европе и у нас, мы видим переход от одного состояния

дел к другому, от старого к новому. Человечество идет вперед, но, достигнув высокой степени развития, оно вдруг начинает думать, что идти далее уже невозможно, хочет остановиться, торжествовать свою победу, забывая, что остановка только увлечет его в сильнейший новый порыв к неизвестной искомой им цели. В политической истории народов такие переходы уже определены и ясны: приложите их к истории ума, знаний и литературы, и она пояснится вам. Так, классическому миру древних наследовало его падение в Риме, явило схоластику, перешедшую в классицизм новейший, который погиб в наше время от переворота, коему несправедливо дали название романтического. Каждый переворот должен сопровождаться разгаром страстей и излишествами, утучняя труппами идеи своих ниву Божию, называемую *умом и знанием*. Настоящее время есть переход от романтического бурного переворота к времени мирному, к новому, тихому воссозданию прежних положительных идей человечества. Потомки наши доживут опять до времени своего классицизма, а их потомки опять разрушат их создание новым переворотом — в том заключается жизнь человека и жизнь ума его.

Такое определение может обозначить наше современное место в истории ума человеческого.

«Воссозданию *прежних* идей», — сказали мы. Да, прежних, но идей *человечества*, а не классика, не схоластика, не грека, не римлянина и не романтика. Убедитесь в бессмертной жизни человечества, в том, что все народы суть члены его, что все века суть различные времена возраста его; что абсолютного или безусловного

на вечность не создавал еще человек, но не создавал он и абсолютно нелепого, и что все, чему воздавал он когда-либо поклонение, имело свои верные причины и оправдывалось историею его или, говоря иначе, временем и местностью. Оставьте вздорную мысль о безумии предков ваших, бросьте еще более нелепую идею, будто вы, крошечный человечек, определены начать новую историю ума человеческого. Забавно какому-нибудь капралу, стоя на карауле, мечтать, что им начинается новая история, когда мы знаем, что и маленький капрал (*le petit caporal*) был только *глава* в истории своего века.

«Но воссоздание прежних идей не есть ли уже нового рода классицизм?» Именно, но только несколькими процентами повыше прежнего, классицизм, который умеет ценить Шекспира, отдавая справедливость Корнелю;

333

философскую механику Кондильяка заменяет философиею эклектизма человечества; пагубное безбожие энциклопедистов уничтожает перед божественным светом религии; находит условия мира между верою и умом, классицизмом и романтизмом и, созерцая исторически жизнь человечества, видит во всем неизменные меру, вес и число.

Критика, основанная на таких началах, кажется нам достойною великих современных успехов ума, которые, как лучи солнца, пробились повсюду сквозь мрачные тучи, носившиеся в последнее время по горизонту современного человечества. Такая критика не назовет

безумием философской истории ума человеческого и не подумает сама создавать науки наук с основания. Она не преклонится безусловно уже ни перед каким кумиром ни в поэзии, ни в науке, ни в искусстве, но оценит равно творение Виазы, драму Шекспира, трагедию Корнеля, высокое создание готического зодчества, исполинское здание египтянина и изящное произведение грека. Наученная опытом, она не сорвет лаврового венка с головы своевременного дарования, которым увенчали его современники, и тем осторожнее будет сама в раздаче венков: если спорят о венке Державину, не будет она легкомысленно надевать его на голову Пушкина, возводя его во всемирные поэты, потому только, что так говорит собственное наше мелкое самолюбие. Такая критика не осудит безотчетно на позор прежних условий искусства, но, дополняя их новыми открытиями ума человеческого, воздаст их, повторяем уже сказанное нами, не станет утверждать, что в искусстве нет никаких условий и в науке существует только слепой опыт без теории. Наконец, такая критика поймет вполне слово *народность*, в уме и науке, сознавая, что при эклектизме человечества каждый народ должен жить своею самобытностью, хотя и не осуждая на бессмыслие и смерть все другие народы.

Такую критику хотели бы мы представить читателям «Русского вестника», осмеливаясь назвать ее «самобытною русскою» — *хотели бы*, говорим, и наперед признаем недостаток сил наших исполнить наше желание. По крайней мере осмеливаемся обещать все зависящее от нашей доброй воли, и предварительное, искреннее объяснение наше о сущности современной критики может показать читателям, какую при том предполагаем мы цель.

Смеем думать, что некоторые прежние опыты и *двадцать пять лет* занятий литературных дают нам некоторое право на доверенность наших читателей.

В отделении *критики* «Р. в.» желалось бы нам отдавать читателям не отдельные только отчеты о замечательных явлениях отечественной и иностранных литератур, но представлять статьи наши в общей связи, так, чтобы не столько показывали частную сущность того или другого явления, но современное состояние предмета, к которому явление принадлежит. Мало поучительного может извлечь читатель, если ему укажут осуждающим перстом на то либо другое, немногое приобретет и сочинитель от частных замечаний и похвал, если не перескажут ему современных требований в деле, которым он занимается. Пусть только сии требования укажет не произвол критика, не безотчетное: «Так я думаю — так ты должен думать», но отчетистый суд, скромное, доказательное изложение мнения критика и беспристрастие.

«Беспристрастие!» Вот камень преткновения для критики, ибо каждый критик, бывши критиком, в то же время и человек. Быть *беспристрастным* не трудно, ибо для того надобно быть только честным человеком, но кто осмелится поручиться за мое *бесстрастие*, едва ли возможное в здешнем мире? Здесь да простят критику, если только увидят, что он говорит честно и добросовестно... Да верзит на него камень только тот, кто по совести осмелится сказать: «Я выше страстей и личных отношений человеческих!»

Отказываясь от *полемики*, мы не отказываемся сказать иногда наше мнение и не о книге только, но и по поводу какой-либо журнальной статьи — спорить не будем, ибо решение должны произнести другие.

Много любопытных и важных вопросов может заявить суду критики современный быт литературы и знаний в России и в Европе. Но не одни только идеи должны увлекать внимание критики и не одно *современное*. Частные подробности, орудия идей, формы, в какие они облакаются, могут дать повод к соображениям любопытным. Много вопросов может возникнуть из быта прошедшего, оконченного, но еще не решенного потомством, или решенного, но не без апелляций.